

18+

Грумант

Роман

Катерина Калиманова

Катерина Калиманова

Груммант. Роман

«Издательские решения»

Калиманова К.

Грумант. Роман / К. Калиманова — «Издательские решения»,

Шпицберген, полярная ночь. Метеоролог Николай приезжает на год — измерять метан над законсервированными шахтами мёртвого Груманта. Обычный контракт. Но в посёлке, где не осталось живых, всё ещё горит одно окно. А из заброшенного ствола кто-то поёт. То, что Николай принял за научную задачу, оказывается тридцатилетним молчанием, которое наконец нашло, кому говорить. Готический роман о вине, крови и памяти, которая копится под спудом, как газ, — без запаха, без предупреждения.

© Калиманова К.

© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛЁД	8
Глава 1. Баренцбург встречает	9
Глава 2. Тот, кто живёт в Груманте	18
Глава 3. Дети шахты	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Грумант Роман

Катерина Калиманова

© Катерина Калиманова, 2026

ISBN 978-5-0070-5258-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Тем, кто слышит, как земля разговаривает под ногами.
И тем, кто боится разобрать слова.*

*Моему Северу —
который не отпускает,
даже когда уезжаешь.*

*Правде — невидимой, как метан.
Взрывоопасной, как память.*

*Что в землю опустишь — землёю станет.
Что в землю крикнешь — вернётся голосом.
Обратный голос идёт долго.
Иной — всю жизнь.*

ПРОЛОГ

Земля помнит всё.

Кровь, ушедшую в мерзлоту. Крик, оборвавшийся на полпути к небу. Тепло человеческих тел, которые опускались в её недра живыми и возвращались другими — холодными, тяжёлыми, с руками, сжатыми в кулаки: они до последнего пытались что-то удержать.

Первый удар кирки — в тридцать втором году, когда люди пришли сюда с флагами, песнями и верой, что толща отдаст им своё чёрное сердце по доброй воле, по дружбе, потому что они правильные. Мерзлота отдала — но не даром. Она всегда берёт своё. Не сразу. Иногда через десятилетия. Но берёт.

Восемьдесят первый градус северной широты. Архипелаг Шпицберген. Посёлок Грумант — имя, данное этой земле русскими поморами четырёста лет назад. «Груммант» — так они называли всё, что лежало за краем мира: ледяное, чужое, смертельное. Край, где кончается земля и начинается что-то другое. Не ад — ад горячий. Это место было холодным. Пустым. Безразличным к молитвам.

В тридцатые годы здесь стояли бараки, шахты, столовые, клуб с портретом вождя. Жили люди — тысяча душ, может, полторы. Рубили уголь, пели песни, рожали детей, умирали от обвалов, от газа, от холода, от тоски. Строили коммунизм на вечной мерзлоте, не зная, что она живая — дышит, движется, запоминает.

В шестьдесят четвёртом главную шахту закрыли. Посёлок опустел за один месяц. Людей вывезли на материк целыми семьями, вертолётom, который садился раз в неделю и увозил по двадцать человек. Оставшиеся стояли у причала и смотрели, как улетают соседи, и знали, что через неделю улетят сами, и не знали, радоваться или плакать. Некоторые плакали. Некоторые не могли. Арктика высушивает слёзы до того, как они успевают упасть.

Бараки заколотили. Главные стволы затопили морской водой — чтобы не было пожара, чтобы газ не вышел, чтобы всё осталось внизу, где ему и положено быть. Законсервировали. Запечатали. Забыли.

Но земля не забывает.

Имя каждого, кто спускался в забой. Вдох, сделанный в темноте. Молитву, прошептанную перед спуском. Ложь начальства: «Безопасно. Проверено. Газа нет». Смерть, которую списали на несчастный случай, хотя все знали — это не случай, это неизбежность, расписанная на годы вперёд и подписанная теми, кто никогда не спускался в шахту.

Земля хранит это всё — не в архивах, не в документах. В себе. В своих слоях. В угольных пластах, в ледяных линзах, в костях мерзлоты.

И ещё — в метане.

Это не газ. Это дыхание толщи — невидимое, без запаха, без цвета. Поднимается из глубины годами, десятилетиями. Копится под давлением. Ждёт. Иногда выходит тихо, незаметно, уходит в небо и растворяется. Иногда взрывается мгновенно, без предупреждения. Превращает людей в пепел, шахты — в могилы, правду — в огонь.

Он не лжёт — он есть. И если его слишком много, он убивает.

Шестьдесят четвёртый год. Грумант пуст. Но не до конца.

Где-то в забытом бараке горит окно. Одно. Маленькое. Оранжевое пятно на фоне полярной ночи — как последняя искра в остывающей печи. Кто-то остался. Один человек. Или два. Или тот, кто не знает, что мёртв, и продолжает жить по привычке.

Местные — те, кто живёт в соседнем Баренцбурге, в двадцати километрах по льду, — не ходят в Грумант. Никогда. Даже днём. Даже летом, когда солнце не заходит. Там плохое место, говорят они. Земля там злая. Шахта не отпускает.

Если спросить, что именно не отпускает, они отведут глаза и скажут: метан. Или: не ходите туда, и всё.

Но иногда — очень редко, раз в несколько лет — кто-то приезжает. Учёный. Турист. Журналист. Человек, который приехал со своими приборами и цифрами, с верой в то, что Арктика — это широта, холод и лёд, а не живая сила, которая выбирает, кого впустить и кого сломать.

Такие люди возвращаются из Груманта другими. Некоторые — не возвращаются вовсе.

Двадцать седьмое ноября. Двадцать пятый год. Полярная ночь начинается.

На посадочную площадку Баренцбурга садится вертолёт Ми-8. Из него выходит человек — высокий, худой, в потёртой экспедиционной куртке, с рюкзаком за плечами и диктофоном в кармане. Его зовут Николай. Он приехал измерять эмиссию метана в районе законсервированных шахт.

Контракт на год. Печати, подписи, схемы территорий. Инструкция в четырнадцать пунктов, где дважды повторялось слово «безопасно» — явная попытка составителя убедить в этом прежде всего самого себя.

Он думает — всё просто.

Что газ под Грумантом копился тридцать лет и ждал не учёного — а свидетеля. Что под ногами, на глубине трёхсот метров, лежит тело женщины, которая умерла в забое, рожая ребёнка, и не успела крикнуть.

Эхо не умирает.

Звук, брошенный в темноту, всегда возвращается.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛЁД

Ноябрь—декабрь. Полярная ночь начинается

Есть места, которые не нуждаются в живых.
Они обходятся памятью, ветром и ржавчиной.
Им хватает.
Эта книга — для тех, кто всё равно туда поехал.
Для тех, кто там остался.
Для тех, кто вывез оттуда то,
чему до сих пор не нашёл названия.

Глава 1. Баренцбург встречает

Ми-8 медленно снижался над Баренцбургом, винты разрезали молочную пелену.

За иллюминатором был не туман, а что-то живое — тяжёлая взвесь, в которой снег не падал, а лишь существовал. Висел в воздухе, давно позабыв о законе притяжения, и лишь изредка, почти нехотя, оседал на ржавые фермы причала внизу. Сквозь эту пелену угадывались силуэты заброшенных зданий — тёмные прямоугольники, похожие на надгробия, поставленные вплотную друг к другу. Я прижал лоб к холодному плексигласу и попытался разглядеть хоть что-то живое. Стекло немедленно обожгло кожу, но я не отстранился. Мне нужно было убедиться, что там вообще что-то есть. Тщетно.

Ничего живого — только белое, слепое, непроницаемое.

Винты молотили разреженный воздух с надсадным, утробным воем — вертолёт не летел сквозь арктическое небо, а медленно продирался через чьи-то окаменевшие внутренности. Звук этот заполнял салон до краёв, проникал под кожу, дробил мысли на бессвязные осколки. В тесном пространстве пахло керосином, влажной шерстью и старым железом — запахом машин, которые годами служили на краю мира и уже сами начинали походить на живых существ: больных, уставших.

Кроме меня, летели ещё четверо вахтовиков. Они сидели неподвижно, как фигуры, забытые в заброшенной часовне: серые лица, потухшие глаза, одинаковые чёрные унты, припорошённые снегом, который не таял даже в тепле салона. Никто не смотрел в иллюминаторы. Никто не разговаривал. Они либо спали, либо изображали сон — с той обречённостью, с какой покойники изображают жизнь на старых фотографиях. За два часа полёта из Лонгйира между нами не прозвучало ни единого слова. Только кашель двигателя, скрип обшивки да мерное покачивание — вертолёт баюкал нас, не спрашивая, хотим ли мы этого.

Я достал диктофон — потёртый «Олимпус», переживший аспирантуру, две экспедиции и один затяжной нервный срыв, — и нажал запись. Красный огонёк вспыхнул тускло. Чтобы перекричать вой двигателей, пришлось почти орать:

«Двадцать седьмое ноября. Подлетаем к Баренцбургу. Видимость нулевая. Полное ощущение: мир стёрли влажной тряпкой и забыли нарисовать заново. Здесь, говорят, человек либо пускает корни в мерзлоту, либо сбегает через месяц с тем остекленевшим взглядом, по которому сразу видно, что он оставил здесь что-то важное — и сам ещё не знает что. Проверим. Мой предшественник, Горемыкин, уволился „по состоянию психического здоровья“. В отделе кадров улыбались буднично, тоном синоптика, сообщающего о сезонной простуде. Арктика, мол. Тут у всех понемногу трескается голова. Научная задача: измерение эмиссии метана в районе законсервированных шахт. Срок — один год. Личные цели: не сойти с ума, не влюбиться, не завести собаку и не привязаться к этому месту. Последнее, как мне уже намекнули, самое трудное».

Собственный голос в записи прозвучал как чужой — усталый: говоривший уже знал финал этой истории и заранее сожалел о каждом слове.

Я выключил диктофон и убрал в нагрудный карман. Лгал ли я самому себе? Насчёт собаки — пожалуй, нет. Но мысль «не привязаться к месту» уже тогда отзывалась внутри странным головокружением — тем самым, какое бывает, когда стоишь у края пропасти и вдруг понимаешь: страшна не высота, а тайное желание шагнуть вперёд.

Пилот — громадный мужчина с медвежьей бородой и татуировкой перечёркнутого компаса на предплечье, чьё лицо выглядело вырубленным из старого морёного дуба, — обернулся через плечо. Что-то рывкнул сквозь вой двигателя. Я разобрал только последнее слово:

— ...Грумант!

Я переспросил. Он усмехнулся уголком рта и гаркнул громче:

— Грумант, говорю! Слева по борту. Если кишка не тонка — посмотри. Посёлок мёртвых. Там один человек остался.

Я прижался к стеклу. Сначала — ничего. Только бесконечная белизна, густая, как известковое молоко. Но потом вертолёт лёг на крыло, и сквозь снежную пелену проступили силуэты: чёрные бараки с выбитыми окнами, похожими на пустые глазницы; ржавый копёр шахты, вытянувшийся над ними, как виселица, забытая после казни; и фигура Ленина — перекошенная, с отбитой по плечо рукой. Уцелевшей он указывал не вперёд, а вниз, в недра острова — сам давно понял, куда ведут все дороги на этой земле.

Белизна вокруг Груманта выглядела иной — не снежной, а погребальной. Посёлок не стоял среди льдов, а медленно тонул в костяной пыли времени.

Бортмеханик — молодой парень с нервной улыбкой и глазами человека, который давно не спал, — перегнулся ко мне через сиденье и прокричал прямо в ухо:

— Там Лёня-Грумант живёт! Говорят, цыган. Нашли младенцем у поклонного креста. Откуда взялся — никто не знает. Может, шахта выплюнула. Может, сам ледник родил. В глаза ему не смотрите — плохая примета.

Он хохотнул, но смех его прозвучал ломко — как треск льда под ногами, когда уже чувствуешь, что проваливаешься, но ещё надеешься, что обойдётся.

Кто-то из вахтовиков недовольно заворчал в полусне, и механик мгновенно отстранился — так отступают люди, нечаянно сказавшие вслух то, о чём принято молчать.

Я снова посмотрел в иллюминатор. Но Грумант уже пропал — снежная пелена взяла его целиком, не оставив даже провала, откуда мог бы выйти свет.

Посадка вышла тяжёлой. Ми-8 ударился полозьями о мерзлоту так резко, что зубы клацнули. Потом подпрыгнул — и рухнул снова, окончательно, с влажным металлическим стоном. Прихлопнутая муха. Винты ещё крутились, но их вой постепенно умирал, превращаясь в протяжный свист, похожий на последний выдох раненого зверя.

Когда дверь отъехала в сторону, холод ворвался внутрь мгновенно и без предупреждения. Это был не зимний мороз средней полосы — знакомый, почти домашний. Этот был хирургическим. Безличным. Он касался кожи так, будто взвешивал: сколько тепла осталось — и стоит ли возиться. Глаза заслезились, и слёзы почти сразу схватились тонкой ледяной коркой на ресницах. Вахтовики выгружались молча и слаженно, как автоматы, которых заводят одним и тем же ключом. Я спрыгнул последним и по колено ушёл в снег. Под ногами хрустнула мерзлота — сухой треск ломающихся старых костей.

Вертолётная площадка выглядела временной даже для этого мира: расчищенный клочок земли среди ржавых контейнеров, перекошенных бочек и чёрных сугробов угольной пыли. Дальше, в полутьме, поднимались панельные пятиэтажки — жёлтые, с окнами в полиэтиленовых бельмах. Труба ТЭЦ выбрасывала жирный серый дым, но тот не поднимался к небу, а стелился вдоль земли — сам воздух боялся высоты и предпочитал ползти.

На краю площадки стоял человек в ярко-красном пуховике. Без шапки. Светлые волосы трепал ветер, превращая их в бледное знамя капитуляции среди снегов. Когда я подошёл ближе, он улыбнулся — широко, ровно. Зубы у него были неестественно белыми для человека, живущего среди угольной копоти и полярной ночи. Промелькнула мысль: здесь либо не едят, либо очень много следят за собой. Ни то ни другое хорошего не предвещало.

— Николай Павлович? Август Сергеевич. Можно — Густ. — Он протянул руку в тонкой лайковой перчатке. Рукопожатие оказалось коротким и сухим — как прикосновение хорошо отлаженного механизма. Не жест живого человека, а жест человека, который давно выучил, каким должен быть этот жест. — Я занимаюсь туристическим кластером. Мы с вами будем

часто пересекаться. Вас уже заселили. Комната триста двенадцать. Четвёртый этаж. Оттуда рудник видно — если интересуется.

Говорил он быстро, легко, с той наигранной бодростью, с которой объясняют правила игры человеку, которого намерены обыграть. Слова сыпались плотно, не оставляя пауз, — и в этой плотности чувствовалось что-то болезненное, почти судорожное. Так говорят люди, которые годами прожили в тишине и теперь заполняют её звуком — из страха снова её услышать.

— Метан ваш подождёт. А вот ужин — нет. Бар «Красный медведь» до десяти работает. Приходите. Познакомлю вас с местными. У нас тут все друг друга знают. — Пауза. Смешок. — Слишком хорошо знают.

Он хлопнул меня по плечу — жест дружелюбный по форме и пустой по содержанию — и зашагал к посёлку, оставляя в снегу глубокие следы, чёткие, почти нарочитые. Я двинулся следом, волоча чемодан, который скрипел по насту, как маленький гроб.

На полпути я обернулся.

Вертолёт уже готовился к обратному вылету. Его винты медленно раскручивались, взбивая снег в белёсый саван. А далеко за ним, на другой стороне фьорда, в густеющих сумерках полярной ночи, снова проступили чёрные точки Груманта.

Они были там.

И в одном из окон дрожал свет. Не электрический — живой. Тусклое пламя колебалось во мраке: кто-то по ту сторону снегов терпеливо ждал моего приезда.

Леонтий был дома.

Я отвернулся и пошёл дальше. В горле першило от угольной пыли, а в голове крутилась нелепая мысль: топят ли он печь углём, украденным у мёртвых шахт? Или мёртвые сами приносят ему топливо из глубины?

Позже, уже в комнате триста двенадцать, я записал эту мысль в блокнот. Комната оказалась тесной, казённой, с жёлтым светом лампы и окном, из которого открывался вид на рудник — чёрный провал штольни, закрытый ржавой решёткой. Пасть зверя, которого когда-то загнали обратно под землю, но он не сдался и продолжает дышать. Казённая тумбочка, казённый стул, казённый стол под той же лампой — вещи, которые не принадлежали никому конкретно и потому принадлежали всем по очереди.

На тумбочке у кровати стояла кружка. Чужая — в коричневом кольце на дне. Горемыкин, наверное. Я перечитал запись и тут же зачеркнул её. На бумаге она выглядела ещё безумнее. А я приехал сюда как учёный. По крайней мере, тогда мне всё ещё хотелось в это верить.

Бар «Красный медведь» прятался в цокольном этаже бывшего Дома культуры — тяжёлого, приземистого здания с облупленными колоннами, нелепыми среди арктической пустоты, как театральный реквизит, забытый после конца света. Сам дом, казалось, стыдился собственного прошлого величия: штукатурка на фасаде вздулась пузырями, под которыми проступала сырая кирпичная плоть, а окна верхних этажей чернели пустыми глазницами — здание давно вымерло, оставив внизу работать только этот бар, последний тёплый орган в мёртвом теле посёлка.

Над входом висела вывеска. Белый медведь, нарисованный грубой рукой, держал кружку пива в лапах, как трофей. Но страшным был не рисунок, а глаза зверя — человеческие, усталые. Красные прожилки в белках делали его похожим не на хозяина Арктики, а на человека, который годами пил в одиночестве и однажды перестал понимать, зачем останавливаться.

Я толкнул тяжёлую дверь, обитую войлоком, и вошёл.

Тепло ударило сразу — вязкое, душное, почти плотское. Оно обволакивало тело, как влажное дыхание огромного животного. Где-то в глубине гудела печь, и воздух был густ от запахов: солярка, мокрая шерсть, кислое пиво, дешёвый табак и ещё что-то сладковато-прелое,

напоминающее запах старой древесины, годами впитывавшей дым, алкоголь и человеческое отчаяние.

Под потолком висели лампы дневного света. Одна из них непрерывно моргала, и её судорожные вспышки превращали движения людей в рваную хронику: лица дёргались, руки исчезали и возникали снова — все присутствующие уже наполовину существовали по другую сторону реальности.

Зал оказался маленьким. Пять столов под клеёнкой с выцветшими цветами, похожими на пятна плесени. Длинная стойка, обитая листовым железом, местами потемневшим от времени и ладоней. На высоком табурете сидел вахтовик с расстёгнутой до живота рубашкой и смотрел в кружку, тщетно пытаясь вычитать на дне ответ, ради которого прожил всю жизнь. За стойкой стоял бармен.

Сутулый мужчина лет пятидесяти с лицом печёной картофелины — тёмным, растрескавшимся от въевшегося в кожу многолетнего мороза. Он протирал стакан вафельным полотенцем с глубоким сосредоточением — совершал древний ритуал. Но смотрел он не на стекло.

На меня.

Кроме него и вахтовика, в баре находилось ещё несколько человек. Трое играли в нарды — кости стучали о доску с размеренностью метронома. Двое спорили вполголоса за дальним столом, наклонившись друг к другу так близко, что делились не словами — дыханием.

И ещё была женщина. Она сидела у окна, за которым не существовало ничего.

Стекло занимало почти всю стену, но по ту сторону была только полярная ночь — густая, бездонная чернота, похожая на открытую шахту. Женщина сидела к этой темноте спиной, и всё равно она принадлежала ей больше, чем бару, свету или кому-либо из присутствующих.

Я сразу понял, что это она.

Остальные бессознательно ориентировались на неё, как железные опилки на магнит: никто не смотрел открыто, но каждый время от времени бросал в её сторону быстрый взгляд — осторожный, почти тревожный.

Она была не столько красивой, сколько значительной. Есть лица, которые хочется разглядывать. Её лицо хотелось запомнить — как запоминают место аварии или дату смерти. Высокие скулы, прямой нос, резко очерченная линия челюсти. Тёмные волосы собраны на затылке кое-как, выбившиеся пряди падают на лицо — и она их не убирает. В этом была не небрежность и не кокетство. Что-то другое: так ведут себя люди, которым давно всё равно, что видят в них другие.

Тёмно-зелёный свитер грубой вязки, тяжёлые ботинки, джинсы — одежда человека, который живёт не среди людей, а среди ветра, камня и снега.

Но главное — глаза.

Когда я подошёл к стойке и заказал пиво, она подняла голову. Взгляд оказался прямым, тяжёлым, без единого лишнего движения. Без кокетства. Без любопытства. Так смотрят на предмет, который неожиданно оказался не на своём месте — не враждебно, а только констатируя факт.

Я отвёл глаза первым.

— Новенький, — сказала она.

Голос прозвучал негромко, но в полупустом баре разошёлся отчётливо — как удар камертона в металлической комнате. Это было утверждение.

Я всё же обернулся.

— Метеоролог, — ответил я зачем-то. — Сегодня прилетел.

Она медленно кивнула, примеряя эту информацию к чему-то, известному только ей. Потом, не говоря больше ни слова, взяла рюмку и пересела — на табурет через один от меня. Бармен сразу перестал тереть стакан и налил ей коньяка, не спрашивая. Привычным движе-

нием, не глядя. Как наливают человеку, чья потребность давно стала частью распорядка этого места.

Она обхватила рюмку обеими руками. Пальцы были длинными, бледными, без единого кольца — руки человека, который либо никогда не верил в обещания, либо давно перестал. Некоторое время она молчала. Молчала так, что я не решался заговорить первым. Это было её молчание — плотное, обжитое, как эта стойка, как этот бар, как этот посёлок.

— Анисия, — сказала наконец. — Можно Сия. Или Нися. Мне всё равно.

— Николай. Коля.

— Очень приятно, Коля-метеоролог.

Тепла в её голосе не было, но и насмешки тоже. Только усталость — старая, вьевшаяся в интонации, как угольная пыль в трещины стен.

— И что будете измерять? Температуру? Давление? Или что-нибудь поинтереснее?

— Метан.

Она повернулась ко мне чуть резче. И впервые в её взгляде мелькнуло что-то живое.

— Метан, — повторила она задумчиво. — Это хорошо. Метан честный. Либо есть, либо нет. Под землёй спит или за людьми приходит. С человеком — не так.

Она затушила сигарету — резко, размазывая уголёк по стеклу пепельницы, — и достала новую. Красный «Винстон».

— Из Питера вожу, — сказала, щёлкая зажигалкой. — Здесь таких нет. Здесь вообще ничего нет, кроме угля, ветра и одиночества.

Дым потянулся вверх тонкой серой нитью и растворился под потолком, где моргающая лампа резала его на куски.

— Давно здесь живёте?

Она усмехнулась — коротко и безрадостно.

— Я здесь родилась.

Это прозвучало не как факт биографии. Как приговор.

Она выдохнула дым в сторону окна, за которым чернела полярная ночь.

— Отец был главным инженером рудника. Сейчас почти не работает, но всё равно ходит в контору и орёт на молодых. Люди вроде него не умеют жить без шахты. Даже когда шахта уже начала жрать их заживо.

— Он давно здесь?

— Слишком давно. Он помнит аварию девяносто пятого.

Внутри неприятно похолодело.

— Какую аварию?

Она посмотрела на меня пристально, взвешивая, достоин ли я ответа. Потом решила, что да.

— Восточный штрек. Обрушение. Двенадцать человек ушли под землю. Назад вернули только восьмерых.

Она произнесла это спокойно. Слишком спокойно.

Моргающая лампа вдруг застрекотала чаще, и на мгновение её лицо стало похоже на старую киноплёнку, которую вот-вот прожёт проектор.

Бармен тяжело кашлянул.

— Сия, хватит. Человек первый день здесь.

Она даже не повернулась в его сторону.

— Он всё равно спросил бы.

— Я не спрашивал про аварию, — осторожно сказал я.

— Пока не спрашивали.

Теперь она смотрела прямо на меня, и я впервые заметил тени под её глазами — не следы усталости, а что-то глубже. Внутри неё давно поселилась бессонная зима — и теперь медленно, год за годом, проступала наружу.

— Не ходите в Грумант один, Коля-метеоролог.

Я машинально отпил пива. Тёплое, отдавало железом, со вкусом налитой прямо из ржавой трубы воды.

— Почему?

Она затянулась. Кончик сигареты вспыхнул оранжевым огнём, и на долю секунды её зрачки сузились до острых точек.

— Потому что там живёт человек, который не любит незваных гостей. И потому что земля там дышит.

Она сказала это без тени мистики. Буднично. От этого было только хуже.

— В прямом смысле, — продолжила она. — Метан, который вы собираетесь измерять, поднимается там, где что-то слишком долго остаётся гнить. Где прошлое не может умереть до конца.

Она поднялась.

Длинная куртка, подбитая мехом, сделала её силуэт почти бесформенным — как у человека, который собирается выйти не на улицу, а в снежную бурю длиной в жизнь. У двери она остановилась.

— Если захотите поговорить о метане — приходите завтра в контору треста. Я геолог. — Пауза. — Только о метане. Остального вам лучше не знать.

Дверь хлопнула.

В бар ворвался ледяной воздух, пахнувший снегом и морем. На войлоке мгновенно выступил иней — тонкий, серебристый, похожий на паутину.

Я остался сидеть, сжимая кружку обеими руками.

Бармен наконец отложил идеально чистый стакан и посмотрел на меня взглядом человека, который видел слишком много чужих историй — и ни одну из них не смог изменить.

— Она хорошая, — сказал он тихо. — Но у неё внутри зима. Давняя. До костей.

— Что это значит?

Он пожал плечами.

— А ничего. Есть вещи, которые приборами не измеришь.

Он молча налил мне ещё пива — бесплатно. Но пить я уже не хотел.

Когда через полчаса я вышел наружу, посёлок лежал в полярной тьме, как затонувший корабль под чёрной водой. Ветер гудел в проводах. А откуда-то с той стороны фьорда, со стороны Груманта, раздался вой.

Наверное, собака.

Хотя нет. Слишком низкий звук. Слишком долгий. Так воет не живое существо, а сама пустота — когда её потревожить.

В комнате триста двенадцать я сел на койку, не снимая куртки, и включил диктофон.

«Познакомился с геологом Анисией. Она утверждает, что метан здесь — физическая форма памяти. Бредовая концепция. Но когда она говорила, у меня дрожали руки. И дело было не в холоде. Завтра пойду в контору треста. Будем говорить только о метане. Очень надеюсь, что мне хватит ума не спрашивать про Леонтия и Грумант».

Я выключил запись.

Кружка стояла на тумбочке там, куда я её не трогал. В коричневом кольце на дне — чужая, с прошлой вахты. Я поставил её на подоконник, подальше от рабочего места, и подумал: надо выбросить завтра.

Потом лёг. Не снимая куртки.

Долго лежал на спине, слушая, как здание собирает ночь: трубы сжимались, стены отдавали накопленное тепло с каждой четвертью часа — вели строгий отсчёт. Я не спал — не потому что не мог, а потому что не хотел. Первая ночь на новом месте всегда требует, чтобы её прожили с открытыми глазами.

Около полуночи я встал. Не за водой — встал, потому что лежать стало невозможно.

Я включил лампу и огляделся по-настоящему — впервые за вечер, без суеты первого часа. В ящике стола обнаружился блокнот. Не мой — чужой. Серый, почти квадратный, в картонной обложке с вытисненным профилем Ленина. Такие блокноты ещё выдавали в советское время. Этот был старым, но не архивным: страницы не пожелтели равномерно, как бывает с вещами, пролежавшими тридцать лет, а пожелтели неровно, с потёками у корешка — их листали, в них писали, потом запрятали сюда.

Я открыл.

Записи были сделаны химическим карандашом — уже почти нечитаемым, но если держать под лампой и наклонять лист, буквы проступали. Не дневник и не отчёт. Что-то среднее. Первая страница — список слов, каждое на отдельной строке:

«Запах. Давление. Ритм. Голос. Фигура. Не спать. Считать. Уходить».

Ни дат, ни имён. Только эти восемь слов, которые я прочитал три раза подряд, прежде чем понял, что именно меня в них держит: это не список задач. Это список симптомов. Человек записывал не то, что должен сделать, а то, что с ним происходит. Или то, от чего пытается защититься.

Дальше шли страницы с числами. Даты, время, значения — снятые вручную, без аббревиатур прибора, но узнаваемые: концентрации. Мой предшественник тоже измерял метан. И тоже здесь, рядом с Грумантом: столбцы точек, начиная с декабря прошлого года. Значения в ноябре последовательно росли — не катастрофически, но устойчиво, точно чья-то невидимая рука медленно прибавляла газ на конфорке.

Я перелистнул.

На одной из страниц был рисунок. Схема, сделанная по памяти — неточная, но узнаваемая: контуры посёлка Грумант с севера, как видишь с Кишки. Бараки обозначены квадратами. Шахтный копёр — треугольником. И от одного барака — того, что ближе к шахте, — шли стрелки. Не геологические стрелки газового потока — обычные указатели, какими обозначают направление: вот откуда это идёт. Под рисунком — одно слово: «Всё».

Я закрыл блокнот. Положил обратно в ящик. Это был момент, когда нужно было выбросить его или сдать в архив. Вместо этого я поставил чайник.

Пока вода закипала, я смотрел в окно. За стеклом не было ничего, кроме черноты и собственного отражения — худого человека с нехорошим выражением лица, которого я не сразу признал за себя. Отражение смотрело в ту же точку, что и я: туда, где за фьордом должен был быть Грумант. Не было видно ничего. Только темнота.

Потом я всё-таки лёг.

Лежал долго. Думал о том, что Горемыкин записывал числа — такие же, что и я буду записывать с первого декабря. Что его числа говорили о росте. Что он уволился «по состоянию психического здоровья» — и улыбки в отделе кадров, о которых я вспоминал на борту, теперь приобрели другой смысл. Не «ещё один», а «мы знали, что так будет». Люди улыбаются, когда понимают что-то, чего не хотят объяснять.

Блокнот остался в ящике. Я не вернул его на утро. Не выбросил через неделю. Он лежал там всю зиму — я помню это точно, потому что несколько раз открывал ящик и видел его серую обложку, и каждый раз задвигал ящик обратно. Первый из моих маленьких непоследовательных поступков, которых к февралю наберётся достаточно, чтобы составить характеристику.

Я проснулся в четыре часа ночи — хотя ночь здесь не кончалась. В комнате 312 темнота была та же самая, что в полночь и что в полдень: плотная, казённая, без градаций. Только часы говорили «четыре», и я им верил, потому что больше нечему было верить.

Батарея под окном работала, но с усилием — тепло шло рывками, как у человека с перебитым дыханием. Между рывками воздух успевал охладиться на несколько градусов, и кожа это чувствовала. Я лежал на спине под двумя одеялами и слушал, как в трубах воеет что-то отдалённое и упорное — не ветер снаружи, а сама конструкция здания, которая давно освоила собственный язык и теперь разговаривала им со всеми, кто оставался ночевать.

Кружка Горемыкина стояла на подоконнике там, куда я её переставил. Ближе к холодному стеклу. Полметра расстояния ничего не меняли в её смысле.

За окном не было ничего. Баренцбург в полярную ночь выключается как прибор: последний фонарь гаснет около двенадцати, и дальше — чернота без дна, без горизонта, без какого-либо намёка на то, что там всё ещё существует мир. Я читал про полярную ночь — умом всё сходилось. Тело не читало. Тело продолжало выдвигать взгляд: найди что-нибудь, ориентирись. Взгляд возвращался ни с чем.

В такой темноте граница между «за окном» и «внутри черепа» размывается быстрее, чем ожидаешь.

Я встал в пять. Не потому что выспался. Потому что лежать дальше было невозможно — тело достигло какого-то предела горизонтальной неподвижности, за которым начинается что-то нехорошее.

Умывальная комната на этаже — холодная, с вечной лужей у раковины и зеркалом, которое давно перестало отражать с должной точностью: что-то в покрытии выцвело, и отражение там было слегка смещено, чуть левее, чем нужно. Я чистил зубы и смотрел на это смещённое лицо и думал: вот это смещение — не зеркала, а чего-то внутри — я и привёз с собой.

Я спустился на улицу в начале шестого.

Баренцбург в темноте пах углём, соляжкой и морозом — тремя запахами, которые отдельно существуют в любом северном поселении, а здесь слились в нечто единое, стойкое, почти живое. Запах был не неприятным. Он был честным — именно таким, каким и должен пахнуть рабочий посёлок на восьмидесятом градусе, который не притворяется ничем другим.

Фонарь у административного корпуса давал жёлтый конус света, и в этом конусе висела угольная пыль, взвешенная неподвижно: она не падала, а существовала в воздухе, которому было лень её куда-то нести.

Я достал газоанализатор. Не потому что было нужно — замеры по контракту начинались с первого декабря. Нужно было делать что-то руками. Прибор бибикнул, прогрелся. Метан — 412 ppm. Норма. Точнее, рабочий фон угольного посёлка. Я записал цифру в блокнот аккуратно, с датой и временем: 28 ноября, 05:17. Потом закрыл блокнот.

Постоял у фонаря. Слушал темноту.

Темнота не молчала. В ней что-то жило — не звук, а давление. Чернота за краем фонарного света не была пустой — она держала нечто, не имевшее имени, но осязаемое на коже, на слизистой, на зубах. Это был мой первый полный час в Баренцбурге до рассвета, которого здесь не бывает, и я уже понимал, что Горемыкин был не слабым человеком. Он, скорее всего, тоже вышел вот так, в пять утра, и тоже постоял у этого фонаря, и что-то в нём сдвинулось — не сразу, а постепенно, по сантиметру в день, пока через год он не пришёл в отдел кадров с заявлением.

Я вернулся в комнату.

На подоконнике стояла кружка. Я посмотрел на неё секунду. Потом поставил чайник на электрическую плитку — единственный мой личный прибор, не казённый. Подождал. Налил в кружку кипятка и пакетик чая.

Выбросить завтра.

Пил стоя у окна, в которое смотрело ничто.

Глава 2. Тот, кто живёт в Груманте

Три дня я честно пытался заниматься работой.

Научная задача, ради которой меня отправили на край мира, была сформулирована сухо и безжалостно, как диагноз: «Измерение фоновой концентрации метана над законсервированными шахтными выработками треста „Арктикуголь“. Оценка рисков спонтанной дегазации».

В этих словах не было ничего. Только цифры, приборы, таблицы и методички. Мир, в котором всё подчиняется законам физики, а любая аномалия обязана иметь объяснение.

Я распаковал оборудование в комнате триста двенадцать. Газоанализатор «Геотех-4000» — новенький, пахнувший заводской смазкой. Анемометр. Батометры для отбора проб воздуха. Датчики температуры почвы. Кабели, аккумуляторы, гарантийные талоны — нелепые бумажки, выглядевшие на восьмидесятой широте так же уместно, как пляжный зонтик на кладбище.

Три дня подряд я выходил на окраины Баренцбурга — туда, где снег ещё оставался белым и не успел напитаться угольной пылью. Втыкал щупы в мерзлоту. Снимал показания. Записывал цифры аккуратным почерком.

Цифры были нормальными. Скучными.

А я чувствовал раздражение. Грязное, почти постыдное раздражение человека, который вдруг поймал себя на желании аномалии. Потому что нормальные цифры означали нормальную вахту — спокойную, без происшествий. А я уже не хотел спокойствия.

После разговора с Агафией — я зашёл к ней поутру третьего дня, и она за час разложила передо мной историю Груманта с той же спокойной точностью, с какой расставляют инструменты перед операцией, — внутри меня поселилось что-то чужое. Воображение работало против меня, как плохо настроенный приёмник, ловящий помехи из другого мира. Я просыпался по ночам. Лежал в темноте и смотрел на чёрный прямоугольник окна, думая: «Пятеро. Или шестеро». Пытался представить Леонтия. Воображение металось между двумя крайностями: то рисовало чудовище, то, наоборот, молчаливого пророка, выросшего среди льда и мёртвых. Оба образа были фальшивыми. Книжными. А здесь всё оказалось слишком настоящим для литературы.

На четвёртое утро я сдался.

Снегоход мне выдали ещё в день приезда — старый «Буран» с облезлым капотом и треснувшим сиденьем. Механик, передавая ключ, сказал: «Заводится через раз. Но если заведётся — не подведёт». В Арктике это, видимо, считалось комплиментом.

Я натянул тяжёлый пуховый комбинезон, балаклаву, очки. Термометр на здании треста показывал минус тридцать восемь. Ветра не было. Значит, погода стояла хорошая.

У крыльца курил вахтовик в синем бушлате.

— На замеры? — спросил он, щурясь сквозь дым.

— На замеры, — соврал я.

Он хмыкнул. Сплюнул в снег. Слюна замёрзла ещё в воздухе — упала маленькой ледяной дробинкой.

«Буран» завёлся с третьего рывка. Двигатель кашлянул сизым дымом и затарахтел ровно, почти убаюкивающе.

Я выехал из посёлка.

Дорога на Грумант — «Кишка», как называли её местные, — начиналась сразу за угольным складом. Узкая колея, продавленная гусеницами в снегу, петляла вдоль фьорда, то поднимаясь на каменные уступы, то проваливаясь в низины. Слева ледник медленно сползал к воде. Сизо-белый. Треснувший. Из глубоких разломов сочился странный голубоватый свет — внутреннее свечение льда, подобное старому телу под тонкой кожей.

Справа высились отвалы пустой породы — чёрные искусственные горы, похожие на курганы подземного народа. Землю здесь не добывали — её выворачивали наизнанку.

Я ехал медленно. Не из осторожности. Из-за тишины. Она была такой плотной, что звук двигателя казался оскорблением. Хотелось заглушить мотор, стать меньше, незаметнее, не тревожить это пространство лишним шумом.

В полярной ночи всё меняло форму. Сугроб напоминал скорчившегося человека. Ржавая бочка — голову, торчащую из снега. Пятно мазута — старую кровь. Я убеждал себя: это обычная сенсорная депривация. Недостаток света. Психологический эффект изоляции. Разум говорил одно. Тело — другое.

Минут через двадцать показался Грумант.

Сначала — копёр шахты. Он возник из темноты внезапно, как айсберг в тумане: секунду назад передо мной была пустота — и вдруг в небо поднялась огромная решётчатая конструкция, чёрная и неподвижная. Но не мёртвая. Она скрипела. Даже сквозь двигатель я слышал этот звук — низкий, протяжный, почти инфразвуковой. Его невозможно было расслышать ушами до конца: он ощущался позвоночником, рёбрами, зубами. Мороз сжимал балки, и вся башня дышала, медленно ворочаясь во сне.

Потом появился Ленин. Статуя стояла у въезда в посёлок, заметённая снегом по колени. Правая рука отсутствовала — левая указывала вниз, в землю, в шахты, в недра. Лицо у Ильича было задумчивым и слегка растерянным. Так смотрит человек, проснувшийся слишком поздно и обнаруживший, что будущее давно отменили.

Потом — бараки. Двухэтажные дома тянулись вдоль единственной улицы, почти утонувшей в снегу. Чёрные окна. Остатки полиэтилена, хлопающие на ветру, как слепые веки. Просевшие крыши. Торчащие балки. На одном здании ещё висела вывеска: «Столовая №2». На другом: «Клуб „Ударник“». Слова, пережившие людей.

Посёлок не был заброшен — его переварило время. Цивилизация здесь не ушла, она сгнила, оставив после себя железный скелет.

И всё же в Груманте была жизнь. Из одного барака — стоявшего ближе остальных к шахте — поднимался дым. Тонкий. Серый. Живой. И в окне горел свет.

Я заглушил двигатель.

Тишина навалилась мгновенно — не отсутствие звука, а именно присутствие тишины. Тяжёлой, звенящей, почти физической. Я слез со снегохода и постоял несколько секунд, пытаюсь успокоить дыхание.

«Я учёный, — сказал я себе. — Я здесь по работе».

Это звучало жалко. Но всё же звучало.

Я сделал шаг вперёд. Снег под бахилами хрустнул громко — сухой треск тонкого льда. И в ту же секунду дверь барака открылась.

Он вышел без шапки. Расстёгнутая телогрейка поверх чёрного свитера. Ватные штаны, заправленные в унты. Никакой позы. Никакой демонстрации.

Он встал на пороге и посмотрел на меня.

И я сразу понял: запомнить его невозможно. Леонтий оказался пугающе обычным. Среднего роста. Жилистый. Правильные черты лица. Прямой нос. Резкие скулы. Жёсткая линия рта. Тёмные волосы, зачёсанные назад. Короткая борода. Так мог выглядеть кто угодно — инженер, артист, священник.

Но потом я увидел его глаза. И всё остальное исчезло. Они были светлыми — не серыми, не голубыми. Цвета тонкого арктического льда перед трещиной. Эти глаза не смотрели на человека. Они просвечивали — слой за слоем: кто-то медленно перебирал внутри тебя содержимое старого шкафа, вытаскивая наружу всё, что ты сам предпочёл бы забыть.

Под ложечкой разлилась тупая, липкая тяжесть. Стыд. Нелепый, необъяснимый стыд человека, которого поймали на чём-то грязном — хотя он ничего не сделал.

— Здравствуйте, — сказал я.

Голос прозвучал громко, бодро, нездешне по-городскому.

— Я метеоролог. Из Баренцбурга. Николай. Мне нужно снять показания газа в этом районе, если позволите. Я ненадолго.

Молчание.

Ветер поднял между нами снежную пыль, и она закружилась в жёлтом свете, падающем из открытой двери. Я вдруг понял, что не могу подойти ближе. Воздух между нами превратился в толстое стекло. Не страх. Что-то другое — ощущение чужой территории. Так звери чувствуют границу логова.

Прошло секунд тридцать. Может, минута.

Он заговорил. Голос оказался низким и хриплым — не прокуренным, а промороженным насквозь.

— Ты пришёл один.

Констатировал.

Я кивнул.

— Август знает?

Я растерялся.

— Нет. Это просто замеры.

Он чуть наклонил голову набок — медленно, без спешки. И от этого движения по спине прошло холодное, острое.

— Здесь не бывает «просто замеров», Николай Андреевич.

Я застыл.

Отчество.

Он назвал меня по отчеству, хотя я назвал только имя. Я попытался немедленно найти объяснение: документы, личное дело, слухи — посёлок маленький, все знают всё. Но почему-то ни одна из этих версий не прижилась. Они таяли одна за другой, как снег на горячем железе.

— Ты третий, кто приезжает сюда мерить газ, — продолжил он ровно. — Первый уволился. Второй сейчас в Архангельске. Психоневрология.

Я сглотнул.

— Здесь все всё знают, — добавил он, отвечая на мой невысказанный вопрос. — Это не материк. Тут негде прятаться.

Он помолчал. Потом кивнул куда-то вниз, себе под ноги.

— Замеряй свой метан. Только долго не стой. Здесь гостей не любят.

— Кто не любит? — вырвалось у меня.

Он посмотрел долгим взглядом. И в белёсых глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку — усталую, почти человеческую.

— Земля. Метан, который ты ищешь, — её дыхание. А тебе бы понравилось, если бы кто-то измерял твоё дыхание во сне?

Он развернулся и ушёл обратно в барак. Без прощания. Дверь закрылась мягко и тихо — так закрывают двери в комнате тяжело больного, чтобы не разбудить.

Я остался стоять посреди Груманта. Один. С ощущением только что пережитого внутреннего обыска. Будто перебрали все мои мысли за последние дни и нашли среди них что-то жалкое.

Я механически достал газоанализатор. Включил. Поднёс к земле возле барака.

Цифры сразу поползли вверх. Красная лампа тревоги замигала почти мгновенно. Аномалия. Настоящая.

Но я почти не смотрел на прибор. Руки слегка дрожали — и я так и не понял: от холода или от взгляда Леонтия, который всё ещё чувствовался где-то в глубине грудной клетки.

Минут через десять я уже ехал обратно. Всю дорогу до Баренцбурга мне думалось, что кто-то смотрит в спину. Я оборачивался трижды. Никого. Только Ленин с обломанной рукой. Только чёрные окна бараков. Только полиэтилен, хлопающий на ветру, как слепые веки.

В комнате триста двенадцать я открыл дневник. Руки всё ещё слегка не слушались.

«Он знает моё отчество. Он знает про Горемыкина. Говорит, что земля здесь дышит».

Диктофон я не включал. Не знаю почему.

Я закрыл дневник и лёг. За окном скрипел копёр шахты Баренцбурга. Точь-в-точь как в Груманте. Тот же медленный, гулкий звук: глубоко под землёй ворочалось во сне нечто огромное, невидимое, никак не находя удобное положение.

Я пролежал без сна до пяти утра.

На следующий день, ровно в три — минута в минуту, — я стучал в дверь медпункта. Дверь отворилась раньше, чем мой кулак успел коснуться войлока во второй раз.

— Пунктуальный, — сказала Агафия вместо приветствия. — Это хорошо. Пунктуальные люди меньше врут. Заходите.

В медпункте сегодня пахло не только хлоркой, но и мятой — настоящей, терпкой, южной, чей запах здесь, на восемьдесят первом градусе северной широты, казался вызывающим анахронизмом. На столе, застеленном белой салфеткой, стояли две чашки — не железные кружки, а фарфоровые, с отбитыми ручками, но всё равно фарфоровые, с синим цветочным узором. Рядом дымился заварной чайник под ватным колпаком, на блюде лежали галеты, и рядом с ними стояла банка сгущёнки с пробитой дырочкой.

— Садитесь, Коля-метеоролог. — Агафия указала на стул у окна. — Чай уже заварен. Мята со зверобоем. Зверобой я сама собираю, когда летом езжу в Мурманск. Там, знаете, бывает лето. Короткое. Но зверобоя хватает.

Я послушно сел. Она разлила чай по чашкам — рука не дрожала, движения были плавными, отработанными годами, — и пододвинула одну мне.

— Пейте. И рассказывайте.

— О чём? — Я попытался изобразить непонимание.

Агафия посмотрела на меня поверх своей чашки, и в выцветших глазах я прочёл выражение, которое меньше всего ожидал увидеть: веселье. Сухое, старушечье, почти озорное.

— О том, как вы вчера ездили в Грумант и встретили Лёню. Не отпирайтесь. В посёлке триста пятьдесят человек, и каждый знает, куда вы поехали, сколько пробыли и что у вас было лицо как у покойника, когда вы вернулись. Игорь с метеостанции видел ваш снегоход на Кишке. Спросил у меня: «Чего это новенького понесло к призракам?» Я сказала: «Любопытство». Он сказал: «Ну, ещё один».

Я молча отхлебнул чай. Он был обжигающим, и мята на мгновение перебила все прочие запахи — хлорку, старое дерево, холод, сочащийся из оконных щелей.

— Ну и как? — спросила Агафия. — Понравился он вам?

— Он... — Я замялся. — Он странный. Он знал моё отчество.

— Конечно, знал. Он знает все отчества. Я же говорила вам — он видит насквозь. Вы думали, я метафорами выражаюсь? — Она хмыкнула. — У него память как у слона и слух как у песка. И он читает людей по глазам быстрее, чем вы свои замеры снимаете. Этому не учат. С этим родятся. Или, — она помолчала, — умирают.

Я поставил чашку на стол.

— Расскажите мне о нём, Агафия. По-настоящему. Не про младенца у креста. А про то, что было потом. Как он рос. Почему ушёл в Грумант. Почему там живёт. И что произошло между ним и Анисией.

Агафия долго смотрела в свою чашку, пытаясь вычитать ответ среди чаинок на дне.

— Хорошо, — сказала она. — Но вы сами напросились. И учтите: то, что я расскажу, вы не запишете в блокнот. Вы это запомните. А помнить — тяжелее.

Она отодвинула чашку, сложила руки на коленях и начала говорить.

За окном медленно, почти незаметно умирал короткий полярный день. К тому моменту, когда Агафия замолчала, за стеклом снова стояла ночь. Полная. Непроглядная. Снаружи ничего никогда и не было.

— Это случилось в ноябре, — начала Агафия. — Двадцать шестого числа. Я хорошо помню, потому что накануне был день моего рождения — сорок пять лет, красивая дата, круглая. Мы с мужем ещё живы были, Саша мой... — Она на секунду замолчала, но быстро взяла себя в руки. — Я тогда работала в смену, дежурила в этом самом медпункте, только он стоял в старом здании, его потом снесли. Метель началась с вечера двадцать пятого и к утру двадцать шестого превратилась в... даже не знаю, как назвать. В белую стену. Ветер выл так, что мы в помещении орали друг другу в ухо и не слышали. Связь с Грумантом прервалась. Но тогда в Груманте ещё жили люди — немного, человек двадцать, но жили. Законсервировали посёлок позже, а тогда там была вахта.

Она отхлебнула чай.

— Двое шахтёров — Кравцов Николай и Пузырёв Василий — вызвались идти в Грумант. Официально — проверить, не порвало ли где теплотрассу: если порвало, люди бы замёрзли насмерть за ночь. Но это официально. На самом деле — и я узнала это позже, много позже, — Кравцов пошёл, потому что в Груманте была женщина.

Она помолчала.

— Анфиса.

— Его мать, — повторил я.

— Да. Его мать. Работала уборщицей в общежитии. Приехала с материка за год до того — молодая, двадцать два года. Красивая была, но не смазливой красотой. Светлой. Как лампада. Улыбалась редко, но когда улыбалась — всем теплее становилось. Кравцов, дурак, влюбился по уши. А она была сама по себе. Ни с кем не сходилась. Жила одна в бараке на отшибе — в том самом, где сейчас Леонтий. Говорили разное: что у неё кто-то был до приезда, что она сбежала от кого-то, что она вообще не та, за кого себя выдаёт. Но это всё слухи. Слухам здесь — как снегу: намечает выше головы, а правды под ними — горсть.

— И Кравцов пошёл к ней в метель?

— Пошёл. И Пузырёв с ним, за компанию. Прошли пешком десять километров в минус сорок пять. Как дошли — одному богу известно. Кравцов потом говорил: «Нас кто-то вёл». Я ему: «Кто?» А он: «Не знаю. Но я не сам шёл. Меня тащили». Я думала — обморожение, бред. Но он был серьёзен. Очень серьёзен.

Агафия остановилась и посмотрела в окно. За окном было черно, и в черноте этой ничего не отражалось, кроме наших лиц и лампы дневного света под потолком. Снаружи не существовало ничего, кроме нас двоих и этого разговора.

— Они нашли её в бараке. Она была уже мертва. Роды начались преждевременно, и она не справилась — одна, в метель, без помощи. Ребёнок лежал рядом, завернутый в шинель. Кравцов говорил, что шинель была тёплой. Тёплой — на теле мёртвой женщины, в нетопленном бараке, в минус сорок пять. И ребёнок был жив. Не замёрз. Не задохнулся. Он спал.

Она замолчала.

Я тоже молчал. В комнате было слышно только гудение лампы и далёкий, едва различимый скрип шахтного копра.

— Откуда взялась шинель? — спросил я наконец.

— Этого никто не знает. Анфиса не носила шинелей. У неё была цигейковая шуба — старенькая, но тёплая. Шинель была не её. Чья — неизвестно. Может, Кравцов принёс, да забыл в горячке. Может, ещё кто. А может... — она запнулась, — ...и не человек вовсе.

Я не стал уточнять.

— А отец? Кто был отцом ребёнка?

Агафия долго молчала, прежде чем ответить.

— Этого я вам не скажу. Во-первых, потому что это не моя тайна. Во-вторых, потому что я не уверена на сто процентов. У меня есть догадки. Но вы сами понимаете: в таких делах догадка стоит жизни. И не моей.

— Чьей же?

— Того, кто до сих пор жив. И кто, возможно, не знает. Или знает — но молчит. А если узнает, что знает кто-то ещё — ему придётся что-то делать с этим знанием. Здесь, — она обвела рукой пространство вокруг, — знание — это оружие. Иногда оно стреляет.

Я допил чай. Мята уже не чувствовалась — во рту остался только горьковатый привкус зверобоя.

— И что было дальше? — спросил я. — После того, как нашли ребёнка?

— Дальше была авария, — сказала Агафия глухо. — Но это уже другая история. Приходите завтра.

Она встала, давая понять, что разговор окончен. Я поднялся тоже.

— Агафия, последний вопрос. Почему вы мне это рассказываете? Вы ведь меня почти не знаете.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, и впервые за всё время в её глазах мелькнуло что-то похожее на усталость. Не старческую — иную. Ту, что накапливается от слишком долгого молчания.

— Потому что вы спросили. А здесь никто ни о чём не спрашивает. Все делают вид, что прошлого нет. А оно есть. Оно лежит под землёй и ждёт.

Она взяла со стола чашки и понесла к рукомойнику.

— Идите, Коля. И подумайте: надо ли вам всё это знать? Вы ещё можете уехать. У вас годовой контракт, но контракт можно разорвать. Горемыкин разорвал. И правильно сделал.

— Я не Горемыкин, — сказал я, и сам удивился, как твёрдо это прозвучало.

Агафия обернулась.

— Вот этого я и боюсь, — сказала она тихо.

Я вышел. Дверь закрылась за мной с тем же жестяным скрипом.

На улице было тихо и темно. Мороз лёг на лицо сразу, как маска. Я стоял несколько секунд и думал о «Бурани», которого не повернул на полпути к Груманту. О глазах Леонтия, от которых не отвёл взгляд. Об имени, которое услышал впервые несколько дней назад и с тех пор не мог забыть.

Анфиса.

Я пошёл к общежитию. В комнате триста двенадцать открыл блокнот и записал всего одну строчку:

«Шинель была тёплой. Это невозможно. Но это правда».

В геологический отдел я пришёл на четвёртый день — официально, по делу. Нужно было получить архивные данные о строении восточного пласта: мои приборы давали картину с поверхности, а для понимания подземного движения газа требовались исторические замеры на глубине.

Отдел занимал три комнаты на первом этаже административного корпуса. В первой — стеллажи с папками, запах старой бумаги и сырого дерева, как в библиотеке, которую давно

не проветривали. Во второй — столы с вычислительными машинами, которые работали с тем надсадным гулом советских трансформаторов, что мозг через час начинает воспринимать как тишину. В третьей — свет другой: лампа дневного света заменена на обычную лампочку под жестяным абажуром, и стол большой, с наклонной доской для карт.

За этим столом работала Анисия.

В первый раз я увидел её в баре, в вечернем свете с морганием неисправного светильника. Теперь — при рабочей лампе, наклонившись над листом кальки, левой рукой прижимая один угол, правой ведя тонкий карандаш вдоль контура. Белый халат поверх свитера. Волосы убраны, одна прядь выбилась — она не убирала её. На столе рядом с картой — кружка с остывшим чаем, стопка закладок из фольги, логарифмическая линейка. Всё на своих местах — так расставляют вещи люди, которые не ищут карандаш, а знают, где он.

Она не подняла голову, когда я вошёл.

— Мне нужна документация по восточному пласту. Горизонты ниже ста метров. — Я сказал это в спину стеллажа, где стояла её коллега, пожилая женщина с ключами. Коллега ушла искать. Я остался у двери.

— Горемыкин тоже спрашивал, — сказала Анисия. Не поднимая головы.

Я помолчал.

— И что ему ответили?

— Что документация засекречена частично. Горизонты до восьмидесяти метров — открытый доступ. Ниже — только по запросу в трест, через Москву. — Теперь она подняла взгляд — коротко, деловой. — У вас есть допуск к полному архиву?

— У меня есть контракт на измерения. Допуск — не указан.

— Значит, получите данные до восьмидесяти метров. Остальное — как сложится. — Она вернулась к кальке.

— А у вас — есть допуск?

Она чуть помедлила. Один удар карандашом по линейке — проверить градус.

— Я здесь выросла. — Сказала так, отсекая любые дальнейшие расспросы. Может, так и было.

Я подошёл ближе. Не вплотную — остановился там, где можно смотреть на карту, не нависая. Это был геологический разрез западного сектора, масштаб крупный, слои помечены цветовыми карандашами. Я смотрел и думал, что знаю, как этот разрез должен выглядеть в восточном секторе — там, где законсервированный штрек, там, где мои показания дают аномалию. Анисия тоже это знала. Она была геолог. Она читала такие карты как текст.

— Вы видели восточный разрез? — спросил я.

Пауза. Долгая. Карандаш остановился.

— Видела.

— И?

Она отложила карандаш. Выпрямилась. Посмотрела на меня — не тем взглядом, что в баре: то был взгляд человека, оценивающего новый предмет. Теперь — другой. Взгляд человека, который решает, можно ли доверять.

— Вы только начали. — Сказала утвердительно. — Вам ещё не надоело.

— Нет.

— Это изменится. — Она взяла кружку, отпила, поставила обратно. Чай явно был холодным, но она не поморщилась. — Восточный пласт сложный. Не по структуре — по истории. Там были события, которые в официальной документации описаны одним способом, а на земле выглядят по-другому. Если ваши приборы дают аномалию — они не врут. Но что это значит в полном объёме — вам скажет не документация. Вам скажет само место.

— Вы бывали в Груманте?

Короткая пауза.

— Я там выросла.

Во второй раз — то же самое. Не ответ — покрытие. За этим покрытием было что-то конкретное, что она не хотела называть.

Вернулась коллега с папкой. Я получил данные — неполные, до восьмидесяти метров, как и предупреждала. Поблагодарил. Уходя, обернулся: Анисия уже снова работала над картой. Один локоть прижимает кальку, другая рука ведёт линию. Стопка закладок, логарифмическая линейка, кружка с холодным чаем. Всё на своих местах.

Я вышел и в коридоре остановился. Открыл блокнот. Записал одну строчку:

«Знает про восточный пласт. Не говорит. Почему — неясно. Выяснить».

Выяснял потом долго. Так долго, что когда выяснил — это уже не было главным.

Я вернулся в Грумант через неделю. На этот раз — не в шесть утра, не в темноте, не наполовину в панике от показаний приборов. Я поехал после обеда — в то короткое окно, которое здесь называлось днём: два часа призрачного серого света над южным горизонтом, когда небо из чёрного становилось тёмно-синим, а потом снова чернело. В полярной ночи этот свет действовал странно — не просветлял, а обнажал. Снег делался голубым, тени — острыми, и всё вокруг выглядело точнее, чем при настоящем солнце, и одновременно нереальнее.

«Буран» завёлся со второго рывка. Это уже стало нормой.

На этот раз я не врал себе насчёт причин поездки. Три дня после второго разговора с Агафией я ходил с ощущением незаконченного предложения. Она рассказала мне о Леонтии снаружи — детдом, побеги, Кишка, детская дружба с Анисией. Она рассказала, как он смотрит. Но самого главного она не знала — или знала, но не могла передать словами. Как это изнутри. Как это устроено — жить там, где жила и умерла твоя мать, и слышать то, что не слышит никто другой.

Это мог объяснить только он сам.

Грумант встретил меня привычно: Ленин с отбитой рукой, скрипящий копёр, бараки с пустыми окнами. Но я заметил кое-что, чего не видел в первый раз. Вдоль одного из барачных тянулась тропа — натопанная, регулярная, не случайная. Кто-то ходил здесь часто, по одному и тому же маршруту: от жилого барака к шахтному копру и обратно. Каждый день. Много лет.

Дым над трубой поднимался тонкой нитью — значит, дома.

Я заглушил двигатель и прошёл последние двести метров пешком. Снег хрустел. В этот раз я не пытался ступать тихо — напротив, шёл нарочно громко, чтобы он слышал. Чтобы мой приход не был похож на вторжение.

Я остановился перед дверью барака и постучал.

Долгая пауза. Потом голос — низкий, без интонаций, как из-под воды:

— Войди.

Я открыл дверь и вошёл.

В бараке было прохладнее, чем снаружи — градуса на три, не больше. Печка горела, но небольшим, экономным огнём. За окном, которое выходило на восток, тянулась полоска синего неба. Единственный час дня, когда в бараке было светло без свечи.

Леонтий сидел за столом с кружкой. Перед ним лежала книга — та самая, без обложки, которую я запомнил по первому визиту. Он читал, когда я вошёл, и не сразу поднял глаза.

На стене я впервые разглядел карту — не ту, что висит в тресте, с условными обозначениями и координатами. Самодельную. На листе ватмана, желтоватом от времени, чьей-то уверенной рукой были нанесены контуры шахтных выработок, штрек за штреком, уровень за уровнем. На полях — пометки, написанные химическим карандашом: цифры, даты, короткие слова. Я прищурился, пытаюсь разобрать. «Ноябрь-95». «Вост. штрек — обруш.». «Пузырёв — точка вых.». «Мама — последний сигнал».

Последнее было написано другим карандашом — мягче, позже.

— Сядь, — сказал Леонтий, не глядя на меня. — Не стой в дверях.

Я сел на табурет. Единственный свободный. Тот, который, судя по всему, стоял здесь именно как запасной — никогда не убирался, никогда не использовался. Гостевой.

— Агафия рассказала тебе, — сказал он. Без тени сомнения.

— Да.

— Что именно?

— Как тебя нашли. Метель, Кравцов, крест. Как ты рос. Как уходил в Грумант. — Я помолчал. — Про твою мать.

Он поднял глаза от книги. Посмотрел на меня — долго, с той своей рентгеновской внимательностью, после которой хочется проверить, не видно ли что-то лишнее насквозь.

— Зачем ты вернулся? — спросил он.

— Потому что она рассказала снаружи, — сказал я. — А я хотел узнать изнутри.

Долгая пауза. Он закрыл книгу, отложил. Обхватил кружку обеими руками — такой же жест, как у Анисии в первый вечер. Я заметил это сходство и немедленно понял, что не случайное.

— Ты учёный, — сказал он.

— Да.

— Учёные не верят тому, что нельзя измерить.

— Учёные не верят тому, что не понимают, — поправил я. — Это разные вещи. Я не понимаю многое из того, что здесь происходит. Но я слышу. И прибор у меня показывает аномальные цифры. А аномальные цифры требуют объяснения.

Что-то в его лице изменилось. Не смягчилось — закрытость стала чуть менее абсолютной. Как форточка приоткрылась.

— Объяснение есть, — сказал он. — Но тебе оно не понравится.

— Попробуй.

Он поднялся и подошёл к карте. Встал рядом с ней — боком ко мне, лицом к стене — и указал на точку в восточном секторе.

— Вот восточный штрек. Горизонт сто двадцать. Законсервирован в девяносто пятом после обрушения. — Голос у него был ровный, как у человека, который объяснял это много раз самому себе и давно перестал волноваться, выйдут ли слова правильно. — Четверо шахтёров остались внизу. Кравцов и Пузырёв достали только одного, раненого. Остальных — нет. И мать. Она была там за день до обрушения. Родила меня и умерла. Тело не подняли.

Я молчал.

— С тех пор, — продолжил он, — я слышу их. Не каждый день. Зависит от давления, от температуры, от того, насколько тихо. Зимой — чаще. В метель — почти всегда. Сейчас, в декабре, — каждые несколько ночей.

— Что именно слышишь? — спросил я тихо.

Он повернулся ко мне. В его белёсых глазах что-то двигалось — медленно, как течение под льдом.

— Голоса, — сказал он. — Не слова — интонации. Так разговаривают в соседней комнате за запертой дверью, когда звук пробивается сквозь стену. Не разберёшь смысл — только тон. — Он помолчал. — Кравцов — я узнаю его. Низкий голос, медленный. Он что-то объясняет, всегда объясняет — кому-то, кого не слышу я. Пузырёв — быстрее, беспокойнее. Он до сих пор испуган. Тридцать лет — а он до сих пор испуган. — Он снова отвернулся к карте. — А мать — другая.

— Чем другая?

— Она поёт.

Пауза. За окном синева начинала темнеть — дневное окно закрывалось.

— Поёт? — повторил я осторожно.

— Да. Не слова — мелодию. Одну и ту же. Я не знаю, что это. Колыбельная, наверное. Или звук, который она издавала, когда была в себе. — Он, не глядя, коснулся пальцем точки на карте — той самой, с пометкой «мама — последний сигнал». — Её голос отличается от остальных. Остальные — здесь, рядом, они в стенах, в полу. А её голос глубже. Она ушла дальше, но ещё держится. За что-то держится.

— За вас, — сказал я.

Он не ответил. Но и не отверг — значит, согласился.

Я смотрел на карту и думал о том, что Агафия говорила: «Она звала. Мы пошли на голос, но штрек обрушился». Думал о том, что Кравцов за год сгорел. Что тоска убила его сильнее сердечной болезни.

— Это пугает? — спросил я.

Он посмотрел на меня с недоумением: мой вопрос показался ему нелогичным — из тех, что задают, справляясь, пугает ли тебя собственное дыхание.

— Что пугающего в том, что слышишь мать? — сказал он.

Ответа у меня не было. Это была правда, которую невозможно было разобрать на части.

— Вы когда-нибудь спускались? — спросил я. — В тот штрек. Туда, где...

— Да, — сказал он. — Несколько раз. Первый раз — в пятнадцать лет. Я сломал замок на решётке и прошёл метров тридцать, пока штрек держался. Дальше — обрушение. Порода. Я не мог пройти. Но я слышал её — ближе, чем обычно. Намного ближе. Почти как сейчас слышу тебя.

У меня по спине прошёл холод — и не от мороза, который начинал пробираться в барак через щели в стенах.

— И что? — спросил я.

— Она пела. — Он смотрел в кружку, в остывший чай. — Я сидел на полу штрека, опирался о стену — порода там сырая, холодная, — и слушал. Я не мог ничего сделать. Я не мог добраться до неё. Я мог только сидеть и слышать.

Он помолчал.

— Один раз я окликнул её. По имени. Пение оборвалось — будто она обернулась на голос и не нашла, кого искала. Потом началось снова, но дальше, тише. Больше я не окликал. Слушать можно. Звать — нет.

Пауза.

— Этого оказалось достаточно. Для неё — и для меня.

Это «этого оказалось достаточно» — без горечи, без смирения, как факт — было, может быть, самым страшным и самым красивым, что я слышал за эти месяцы. Человек, которого бросили ещё не рождённым, нашедший способ принять это таким, какое оно есть, и не сломаться.

— Вы сказали, что цифры растут, — напомнил я. — Метан. Я сам видел. Полтора процента там, где должно быть ноль целых что-то. И это в ноябре. Что будет к февралю?

Он поднял глаза.

— Ты учёный, — сказал он. — Ты знаешь, что будет к февралю.

— Я хочу услышать от вас.

— Хорошо. — Он встал, подошёл к окну. Снаружи была чернота — полная, беззвёздная. — Метан будет расти. Я слышу это. Не приборами — ощущением. Как слышат приближение грозы люди с металлическими зубами. Давление под землёй растёт, газ ищет выход. К середине февраля — выброс. Не взрыв. Выброс. Без детонации, если не будет искры.

— А если будет?

Он пожал плечами — спокойно, как пожимают плечами, когда говорят о погоде, которую всё равно не изменить.

— Тогда детонация. Но я думаю, без детонации.

— Почему?

— Потому что этого не нужно. — Он обернулся ко мне. — Земля не хочет разрушения. Она хочет освобождения. Это разные вещи. Взрыв — это когда что-то идёт не так. А выброс — это когда давление достигает точки, где нет другого выхода. Это не катастрофа. Это конец задержки.

Я смотрел на него и думал о своих рапортах. О трёх листах бумаги, отправленных в трест и канувших без ответа. О директоре, который велел «не паниковать». О Августе с его грантом и сроками.

— Вам говорили в тресте? — спросил я. — Что метан растёт?

— Говорили, — кивнул он. — Три года назад. Я написал письмо. Приехал инженер, осмотрел, сказал: «Всё в пределах нормы». Я написал ещё раз. Больше не отвечали.

— И вы решили ждать.

— А что ещё? — Он вернулся к столу и сел. — Я не могу остановить то, что началось тридцать лет назад. Я могу только быть рядом, когда оно закончится. — Он посмотрел на меня прямо. — Ты можешь. У тебя есть приборы и бумага. Напиши снова. И ещё раз. Пусть не слушают. Всё равно напиши. Чтобы потом было что предъявить.

— Кому предъявить?

— Комиссии, которая приедет после. — Он снова взял книгу, но открывать не стал. — Они всегда приезжают после.

Я уехал, когда стемнело окончательно, — часа через полтора. На пороге он остановил меня одним словом:

— Подожди.

Вернулся в барак. Вышел с небольшим свёртком — кусок ткани, завёрнутый вокруг чего-то твёрдого. Протянул мне.

— Что это? — спросил я.

— Уголь. — Он кивнул. — Из восточного штрека. Я поднял тридцать лет назад, в первый раз, когда спускался. Возьми. — Он помедлил. — Чтобы помнить, что это не только цифры в рапорте.

Я взял свёрток. Внутри было что-то размером с кулак — тяжёлое, угловатое.

— Спасибо, — сказал я.

Он кивнул. Закрыл дверь.

Я ехал обратно по Кишке, держа свёрток под мышкой, и думал о том, что только что произошло. Не о голосах — о самом Леонтии. О том, что он показал мне карту с пометкой «мама — последний сигнал». О том, что он сказал: «этого оказалось достаточно». О том, как он держал кружку — двумя руками, сжимая: боялся выпустить тепло. Так же, как Анисия в первый вечер в баре.

В общежитии я развернул свёрток. Уголь был чёрным, тяжёлым, с острыми краями. Я поставил его на подоконник рядом с газоанализатором.

Прибор и уголь. Наука и история. Цифры и голоса.

Я смотрел на них рядом и не мог решить, что из этого весомее.

В комнате триста двенадцать я открыл дневник и написал:

«Земля дышит ему в такт».

Диктофон я не включал. Не знаю почему.

Глава 3. Дети шахты

На четвёртый день я пришёл снова. Ровно в три.

Агафия ждала: чай был уже разлит по чашкам, мята пахла так же терпко, а на блюде, помимо галет, лежали две шоколадные конфеты — «Мишка на Севере» с примятыми, выцветшими обёртками, пролежавшими в заначке не один месяц.

— Это мне на Новый год подарили, — пояснила она, перехватив мой взгляд. — Я сладкое не очень. А вам — самое то. Садитесь.

Я сел, развернул конфету. Шоколад посерел от времени, но вкус остался тем самым — из детства, которое у меня было совсем не здесь, а в подмосковном городе с горячими батареями и запахом подъездной кошачьей мочи. Здесь, на Шпицбергене, этот вкус казался инопланетным.

— Я готова продолжать, — сказала Агафия.

Я понял, что чай и конфеты были не просто угощением. Она готовилась. Так врач готовится к тяжёлому разговору с родственниками — заранее расставляет предметы, приводит в порядок руки, отлаживает голос.

— Вы остановились на том, что Кравцов нашёл младенца, — напомнил я.

— Да. Нашёл. — Короткая пауза. — Нашла.

Она поправилась резко, и я сделал вид, что не заметил. Но заметил. Запомнил. Отложил в ту часть памяти, куда откладывают вещи, смысл которых станет ясен позже.

— Мальчика привезли в Баренцбург. Оформили. Кравцов хотел усыновить, но ему не дали — у него своих трое было, да и жена упёрлась: «Не возьму найдёныша, он мертвячиной пахнет». Дура была баба, прости господи. Но её тоже понять можно: ребёнок, выживший в минус сорок пять, — это не к добру. Так в народе говорят. У нас тут народ суеверный. Впрочем, где он не суеверный?

Она разломила галету пополам, но есть не стала.

— Отправили мальчика в детдом при тресте. Тогда ещё детдом был — небольшой, на тридцать коек, для сирот, чьи родители погибли на шахте. Леонтий был самый младший. И самый странный. Он не плакал. Вообще. Ни разу. Нянечки сперва думали — немой. Потом — глухой. Проверили: нет, и слышит, и говорить может. Не хочет. Он заговорил только в три года, и первое слово было — «шахта». Не «мама», не «дай». «Шахта». Его спрашивают: «Что ты сказал, Лёня?» А он пальцем в окно показывает — туда, где копёр. И повторяет: «Шахта. Там моя мама».

В груди что-то тихо сжалось — несмотря на то что в медпункте было жарко натоплено.

— Когда ему исполнилось пять, он впервые сбежал. Пошёл пешком через фьорд в Грумант. Его хватились только к вечеру. Искали всем посёлком, нашли у поклонного креста — на том самом месте. Он сидел и разговаривал с кем-то. С кем — непонятно. Вокруг ни следа. Ветер, снег. А он сидит и говорит в пустоту: «Я пришёл. Я ещё приду». Его вернули, наказали, заперли. Через месяц он сбежал опять. И опять. К десяти годам он знал дорогу на Грумант лучше, чем любой вездеходчик. И никто уже не удивлялся, когда он исчезал. Знали: Леонтий ушёл к себе.

— К себе? — переспросил я. — Так и говорили?

— Так и говорили. Потому что к тому времени даже самые упрямые поняли: Грумант — его дом. Не Баренцбург, не детдом. Там он был спокоен. Там не дрался, не молчал неделями, не смотрел волком. Там он, — Агафия чуть запнулась, подбирая слово, — оживал.

Она отпила чаю.

— Кравцов, царствие ему небесное, один раз поехал за ним. Хотел понять, что он там делает. И вернулся белый как полотно. Говорит: «Он сидит в старом бараке — в том самом, где Анфиса умерла, — и слушает». Я спрашиваю: что слушает? А он говорит: «Я спросил его.

Он сказал: „Они дышат“». — Она помолчала. — Я и Кравцова спросила: кто «они»? А он за голову схватился: «Не знаю. Но под землёй что-то дышит. И он это слышит».

Кравцов потом пить начал крепко. Через три года умер — сердце. Но это я так, к слову. Я молчал.

За окнами чернела полярная ночь, и где-то там, за фьордом, в том самом бараке горел свет. И человек, о котором рассказывала Агафия, сидел сейчас — возможно — и слушал. То самое дыхание, которое не слышит никто другой.

— А Анисия? — спросил я. — Когда она появилась в этой истории?

Агафия улыбнулась — впервые за весь разговор. Улыбка была странной: не весёлой, а щемящей, как воспоминание о чём-то, что ушло безвозвратно и знало об этом с самого начала.

— Анисия. Сия. — Она произнесла имя дважды, примеряя его к тишине, пробуя на вес. — Она на пять лет младше Леонтия. Дочь Григория Егоровича, главного инженера рудника. Вы его, наверное, видели уже — кряжистый, с бакенбардами, ходит с палкой и на всех кричит. Вдовец. Жена умерла, когда Сие было три года. Он дочь любил, но любил так, как здесь умеют, — строго, без нежностей. Одел, обул, воспитал. А ласки не дал.

Она помолчала.

— Сие было десять, когда она впервые сбежала. Не из дома — из школы. Ушла с уроков и пошла по Кишке. Не знаю, что её погнало. Может, детское любопытство. Может, слухи о диком мальчике, который живёт один в мёртвом посёлке. А может, — она посмотрела на меня внимательно, — что-то другое, чему названия нет. Она сама мне потом говорила: «Я шла, и было ощущение, что меня зовут. Не голосом — глухой внутренней тягой. Как если бы там, в Груманте, лежал магнит, а у меня под рёбрами — железка». Десятилетняя девочка так не говорит.

— Но она сказала именно так, — произнёс я.

— Именно так. — Агафия взяла вторую конфету, но есть не стала — покатала в пальцах. — Она дошла до Груманта одна. В минус тридцать. Её хватились, конечно, подняли тревогу. Я сама участвовала в поисках. И нашли её у того самого барака. Они сидели рядом на пороге — Сия и Леонтий, — и он что-то ей показывал в небе. Я подбегаю, кричу: «Сия! Ты с ума сошла?!» А она оборачивается ко мне — спокойная, домашняя, точно на лавочке у подъезда, — и говорит: «Агафия Петровна, не кричите... Мы на звёзды смотрим. Лёня говорит, что звёзды — это угольная пыль, которую рассыпали по небу, когда земля только родилась».

Агафия замолчала.

За окном медленно, почти незаметно умирал короткий полярный день. Я думал о двух детях на пороге мёртвого барака: мальчике, который рос в тишине и говорил с землёй, и девочке, у которой под рёбрами была железка, и которую тянуло к нему поперёк снега, мороза и здравого смысла.

— С этого всё и началось, — сказала наконец Агафия. — С этого дня они стали неразлучны. Двое детей — и небо над ними из угольной пыли.

Она встала, подошла к шкафчику и достала оттуда старый фотоальбом — чёрный, с выцветшей надписью «Фото» на обложке — и положила передо мной.

— Вот. Это единственный снимок, который у меня остался.

Я открыл альбом.

Фотография была цветная, но краски уже пожухли, ушли в желтизну и синеву. На снимке — двое подростков. Парень лет пятнадцати в расстёгнутой штормовке поверх чёрного свитера, прислонившийся плечом к стене барака. Лицо жёсткое, скуластое, с тёмными бровями, сведёнными к переносице. Взгляд — в объектив, прямой, тяжёлый — взгляд человека, которого фотографируют против его воли, но который не отворачивается из принципа.

Девочка лет двенадцати, с двумя косичками, сидит на перевёрнутом ведре рядом с ним и смотрит не в камеру, а на него. И в этом взгляде — всё. Обожание — да. Но не только. Что-

то более глубокое и тёмное. Она уже понимала: она смотрит на свою судьбу — и не могла отвести глаз.

Я смотрел на снимок и не мог сразу сказать, что именно меня держит. Что-то в лице парня — в линии скул, в том, как посажены глаза. Я уже видел это, совсем недавно, но не мог поймать, где именно, и ощущение осело на дне памяти и затихло там.

— Это кто снимал? — спросил я.

— Август, — сказала Агафия.

Я не сразу нашёлся.

— Да, да. Август тогда приезжал в Баренцбург впервые — молодой, двадцать пять лет, только из института. Приехал с научной экспедицией, изучал возможность развития туризма. Сделал этот снимок. — Она забрала альбом и вернула его в шкафчик. — Потом, через много лет, он женится на Сие. Закономерность.

Она произнесла это слово ровно, без интонации — как диагноз.

— Чем они занимались там, в Груманте? — спросил я.

— Всем тем, чего нельзя в Баренцбурге. Леонтий научил её стрелять — у него был старый карабин «Тигр», который он где-то раздобыл. Они стреляли по ржавым банкам на шахтном отвале. Сия оказалась способной ученицей — через год стреляла лучше него. Он научил её разводить огонь без спичек: берестой и углём, как в старину. Она научила его читать — у неё с собой всегда были книжки, она таскала их из отцовской библиотеки.

Агафия улыбнулась — тихо, почти незаметно.

— Они читали вслух в бараке при свете керосиновой лампы. Чехов, Джек Лондон, «Дети капитана Гранта». Чехов ему особенно нравился. Он говорил: «Чехов понимает. У него люди как здесь — молчат, а внутри кричат». — Она помолчала. — Двенадцатилетняя девочка и пятнадцатилетний дикарь, выросший среди шахт, читают Чехова при керосиновой лампе в мёртвом посёлке. Я думаю об этом иногда — и не могу решить: это страшно или красиво.

— Наверное, и то и другое, — сказал я.

— Наверное.

Она отпила чаю.

— Один раз я сама видела, как они читают, — сказала Агафия. — Не подсматривала намеренно. Пришла в Грумант с проверкой — тогда ещё ходили, нечасто — и не захотела сразу стучать. Остановилась у окна.

— Что видели?

— Его и её. За столом. Сия читала вслух — одну из своих книг. Ему было лет пятнадцать, ей двенадцать. Он сидел прямо, не облокачиваясь, как сидят люди, которые привыкли к отсутствию спинок и давно перестали об этом думать. Слушал. Лицо закрытое снаружи, как я уже умела читать, — но не пустое. Там работало что-то внутри.

Она сделала небольшую паузу.

— Потом чтение прервалось. Сия чего-то не поняла — слово или смысл, не знаю. Спросила его. Он ответил. Я не слышала слов через стекло — только его голос, низкий, спокойный. Она переспросила. Он встал, взял уголь с края стола — он всегда держал там кусочек угля, вместо карандаша, — и написал что-то прямо на столе. Не бумага — стол. На деревянных досках. Что именно — не видела. Но он написал, и она долго смотрела на это. Потом кивнула. Они продолжили.

Агафия взяла чашку. Отпила. Поставила.

— Через день я спросила Сию: что вы читали? Она ответила — «Скучную историю» Чехова. Я говорю: это же совсем не детское чтение, зачем? Она посмотрела на меня с таким выражением — не обидным, удивлённым — и сказала: «Лёня говорит, что это история о человеке, который всю жизнь знал много, а понять ничего не смог. Лёня говорит — бывает хуже, чем умереть. Бывает умереть, не поняв». — Агафия помолчала. — Двенадцатилетняя девочка

мне это говорит. Со слов пятнадцатилетнего мальчика, который никогда не учился ни в одной школе.

— А что он написал на столе?

— Это я спросила у Сии тоже. Она помолчала — уже тогда умела молчать так, что понимаешь: ответ будет, но он неудобный. Потом сказала: «Он написал имя. Анфиса. И сказал: вот кто не понял. Не потому что глупая была. А потому что ей не дали понять. Всё решили за неё». Сия тогда не знала, кто это. Не знала, что это его мать. Имя, написанное углём на столе. Но она говорит: «Я не забыла это имя. Ни разу». — Она поставила чашку. — Вот вам и Чехов при керосиновой лампе.

Я записал «Анфиса» в блокнот. Ниже — «написано углём на столе». Потом закрыл блокнот, потому что понял: это не то, что записывают. Это то, что держат.

— Сия тогда не спросила, откуда это имя?

— Нет. В том-то и дело: не спросила. Дети иногда чувствуют, когда нельзя. Когда человек называет имя не затем, чтобы объяснить, а затем, чтобы сказать вслух — хотя бы однажды. Чтобы кто-то, кроме него, услышал. — Агафия поправила платок на плечах. — Это важно, Коля. Это нужно людям. Не объяснение, не жалость — просто чтобы кто-то другой произнёс имя вместе с тобой. Тогда оно перестаёт быть только твоим.

За окном медпункта снег сошёл с крыши — тяжёлый пласт, с долгим шорохом. Мы оба обернулись на звук. Потом обернулись обратно.

— Он ей что-нибудь ещё объяснял? Про мать? Не тогда — вообще.

— Прямо — нет. Никогда прямо. Но она понимала. Дети так устроены: что взрослые прячут за словами, они видят под словами. Она видела, что этот барак — не место жизни. Что это место ожидания. Что Леонтий не живёт здесь — а ждёт здесь. Чего — она не спрашивала. Дети умеют уважать тайну. Это потом, когда взрослеют, начинают требовать объяснений.

— А вы спросили?

Агафия на меня посмотрела. Долго.

— Я фельдшер. Я умею задавать вопросы, от которых зависит жизнь: больно здесь? кружится голова? сколько дней? Другие вопросы — не моя область. — Пауза. — Но однажды спросила. Лет через пять после того, как Сия уехала. Он тогда уже давно один жил, постоянно, зимы и лета. Я принесла ему керосин и консервы — так, не по делу. Сидели у печки. И я говорю: «Лёня, ты зачем здесь? Тебе сейчас сколько — двадцать два? Ты мог бы жить в Баренцбурге, работать, люди рядом». Он посмотрел на меня с тем своим выражением, от которого чувствуешь себя чуть моложе, чем думала. И сказал: «Здесь мама. Пока я здесь — она не одна». — Агафия отвела взгляд. — Вот и весь разговор. Я допила чай, попрощалась и ушла. И больше таких вопросов не задавала.

— Их пытались разлучить, конечно. Григорий Егорович был в ярости. Запрещал дочери ходить в Грумант, запирали дома, наказывали. Но Сия всё равно убегала. Один раз он выпорол её ремнём — ей тринадцать тогда было. Она вытерпела молча, а ночью вылезла в окно и ушла. Вернулась через два дня. Григорий Егорович сдался. Понял: проще отпустить, чем удерживать. Но затаил злобу. На Леонтия. Он с самого начала его не любил — ещё с тех пор, как младенца нашли.

Она чуть понизила голос.

— Я думаю, он что-то знал. Об Анфисе. О том, кто был отцом. И боялся.

— Чего боялся?

— Что однажды правда выйдет наружу. И тогда всё, что он строил, — репутация, должность, уважение, — пойдёт прахом. Потому что здесь, Коля, тайны долго не живут. Они умирают и гниют, и от этого поднимается что-то — и рвётся наружу. А ему было что терять.

Она отставила чашку.

— Годы шли. Сия становилась старше, и Леонтий старел вместе с ней — только иначе, по-своему, без школ и городов. Она привозила ему книги, он учил её слушать землю. Она объясняла ему, что есть мир за фьордом, он объяснял ей, что в мире за фьордом — то же самое, только без честности. Они спорили. Смеялись. Молчали часами. Я наблюдала это всё со стороны и видела, как что-то в них меняется — медленно, неостановимо, как смена сезонов в Арктике: не вдруг, а так, что не замечаешь, пока в один день не поймёшь, что это уже совсем другое время года.

Агафия долго смотрела в свою чашку.

— Однажды я спросила её: «Сия, что между вами?» Ей было пятнадцать. Она покраснела, но глаз не отвела. И сказала: «Мы одно. Я не знаю, где кончаюсь я и начинается он. И не хочу знать».

Больше Агафия ничего не добавила. Поставила чашку. Взяла в руки вязание — спицы двинулись медленно, почти нехотя.

— Ей было семнадцать, — сказала Агафия.

Голос её стал другим — не тише, а плотнее: слова потребовали усилия, чтобы пробиться наружу.

Я ждал. Она отставила вязание и сложила руки на коленях — как делала всегда перед самым трудным.

— Вы должны понять, Коля. То, о чём я расскажу, — это не история любви. Это история о том, как два человека могут стать одним целым и что из этого выходит. Говорят, что любовь созидает. Враньё. Настоящая любовь — она иногда разрушает. Медленно. Как вода разрушает камень — изнутри, по трещине. И ты никогда не знаешь заранее, где именно трещина.

Она помолчала.

— Это было в августе. Август здесь — не месяц, а насмешка. Снег лежит и в августе, только меньше. Но в тот день случилась оттепель — редчайшая, на день-два. Температура поднялась до плюс пяти, ледник потёк ручьями. Местные говорят: в такую погоду мёртвые просыпаются. Не потому что тепло — а потому что земля дышит иначе.

Она встала и подошла к окну.

Сия пришла в Груммант одна, пешком. Она часто так делала. Леонтий ждал её. Они пошли к старой штольне — он редко туда заходил, но в тот день повёл её именно туда. Сия рассказывала мне позже — много позже, когда уже всё было кончено, — что он сказал ей тогда.

Агафия обернулась ко мне.

— Он сказал: «Ты должна знать, кто я. Я не просто человек, Сия. Я — подземный. Моя мать родила меня в шахте и умерла там же. Её тело до сих пор там. И все, кого не подняли в девяносто пятом, — они тоже там. Они воспитали меня. Они дышали за меня, пока я лежал в снегу. Я слышу их голоса. Не всегда — только когда земля открывается. Но в оттепель всегда».

Я сглотнул.

— Она испугалась? — спросил я.

— Нет. В том-то и дело, что нет. Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Я знаю. Я всегда знала. И мне всё равно».

Агафия помолчала.

— Тогда он взял осколок угля из кармана — обычный уголь, из шахты — и острым краем полоснул себя по ладони. Кровь пошла сразу. Он протянул осколок ей. И она сделала то же самое. Они соединили ладони.

Агафия произнесла это и больше ничего не добавила — дала этому образу повисеть в воздухе медпункта. За окном ветер тронул антенну на крыше, и та тихо, едва слышно, загудела.

— Он сказал слова, которые она запомнила на всю жизнь: «Теперь ты — я. И я — ты. Если ты уйдёшь, я буду ждать. Если не вернёшься — земля тебе не простит».

В комнате было так тихо, что я слышал, как подрагивает лампа на потолке.

— Они не были любовниками, — сказала Агафия вдруг. — Я знаю, о чём вы подумали. Нет. Это было другое. То, что между ними, было глубже физического. Физическое — это для людей, у которых есть границы. А у них границ не было. Они стали одним существом, разделённым на два тела. А когда такое существо разрывают пополам — обе половины умирают. Не сразу. Но умирают.

Она вернулась к столу и села.

— Через месяц после того дня отец Сии объявил ей, что она едет в Санкт-Петербург. В Горный институт. Он уже договорился, уже оплатил, уже собрал документы. И поставил условие: она прекращает всякое общение с «этим диким вырождением» — иначе он сделает так, что Леонтия выселят из Груманта принудительно. У него были связи. Он мог.

— И она согласилась? — спросил я.

— А что ей оставалось? — Агафия развела руками. — Ей было семнадцать. Она выросла в изоляции, на краю земли, и знала только двух мужчин: отца и Леонтия. Ей пришлось выбирать между его свободой и их любовью. Она выбрала его свободу. Или думала, что выбирает.

Руки на коленях сжались.

— Она пошла в Грумант попрощаться. Что они говорили — я не знаю. Она не рассказывала мне об этом ни разу. Но я видела её, когда она вернулась: шла по посёлку как пустая. Лицо белое, глаза стеклянные, и смотрела не вперёд, а сквозь всё. Я остановила её, взяла за руки. Они были ледяными. Я спросила: «Сия, что он сказал?» Она ответила только: «Я вернусь. Через год. На первые каникулы. Я ему обещала».

— И не вернулась?

— Не вернулась. Ни через год. Ни через два. — Агафия криво усмехнулась. — Она вернулась через пять лет. С мужем и дипломом. И с той самой ложью, которую выбрала вместо правды.

Она замолчала. Чай в чашках давно остыл. За окном стояла всё та же чернота, и я только сейчас заметил, что затекли ноги, а спина онемела — прошло не меньше двух часов.

— Мне пора, — сказал я, вставая.

Агафия не ответила. Она смотрела в окно, и я не мог понять: видит ли она что-то там, в темноте, или смотрит внутрь себя.

Уже у двери я обернулся.

— Агафия Петровна. Последний вопрос. Почему Леонтий не ушёл из Груманта сам? Если отец Сии угрожал выселением — почему не ушёл куда-нибудь подальше?

Она медленно повернула голову и посмотрела на меня, констатируя взглядом полную самоочевидность вопроса.

— Потому что ему некуда уходить, Коля. Он и есть Грумант. Он родился под землёй — и под землю уйдёт.

Я вышел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.